

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Экран и сценарий -
1998 -
интервью (№ 27)
с 7.



Театр отродясь причастен поэзии. Мистика Слова, преображенного плотью, вобрал в себя по дороге все профанное и комическое содержание мира, перебралась с алтарей на театральные подмостки.

Молодой француз Оливье Пи решил снова напомнить эти простые истины. Дитя Прованса, его солнца, моря и неба, он, кажется, способен смотреть на мир открыто и ясно. Его подмостки хранят память о земле и звездах над нею, актеры счастливо переживают свою причастность целостному Слову, а гирлянда светящихся лампочек способна превратиться в рощу олив. Он верит и в то, что все еще можно прийти в общепринятое, увидеть амфитеатр, заполненный людьми, и обратиться к ним прямо со словами, от которых давно отвыкли уши: "В этом театре играется то, что вы сможете сделать завтра". Радость, отменяющая постмодернизм единым яростным росчерком пера. Актер подхватывает этот росчерк легчайшим телесным отзвуком, смущенной и насмешливой улыбкой он пытается унять пророческий пыл, боющийся из всех щелей этого невозможного текста и тут же с радостью отдается ему.

Веселая наука

Нынешние актеры так же, как и прежде, мечтают о словах пророков и о театре, за который можно умереть. "Быть может, хоть одно из слов, что я произношу, присутствует каждому из нас? И потому я говорю и быю словами темное скопление публики со страстью языка. И на изгнание слова может совершиться чудо, и кто-нибудь из вас его воспримет".

Слово, как и сказано, стало плотью: светящиеся и развеселое лицо Жан-Дамьен Барбен превратилось в лицо Орфея — поэта, чей поэтический дар заключен в том, что он позволяет случиться поэзии во всех, кто следует за ним, танцуя и радуясь возобновляющемуся празднику бытия: "Не существует божественной власти, есть божественная страсть, растворенная в нашем дыхании", — этими словами Рене Шара Оливье Пи отмечает начало своего текста, которым, в свою очередь, отмечено и начало театра, больше не занятого описанием разрушенного мира.

Французы служили фантастическую мессу. Рядая, танцуя и веселясь, они праздновали Радость и священность мира. "Вы не думайте праха, плоти, крови, истории. Ни каста, никакая семья неспособны призвать вас, опорожнив реальность — улыбку духа".

Призывность этой речи, обращенной к другим актерам, но и к публике, позволяет читать в ней манифест нового театрального поколения. Особенно это было заметно, когда Оливье работал со студентами Леониды Хейфица в Российской Академии театрального искусства. Работа шла с текстом "Орфея", на первый взгляд, чуждом молодым русским актерам. Вскоре обнаружилось, что им радостно и как будто даже привычно играть открыто, страстно, погружаясь в стихию языка, служа тексту, а не под тексту.

"Что было очень показательным в моих диалогах со студентами ГИТИСа — это то, что у них нет доверия к слову. И я думаю, что это культурный феномен. Они все время спрашивали: "Ну что все-таки за этими словами?" Это меня очень тронуло и встревожило. Мне кажется, что слова, которые я написал, не выдают себя за что-то иное, они именно то, что я написал. Во Франции тоже очень часто сомневаются в словах. Но во мне сохранилось доверие к слову как таковому. Я еще верю в то, что удается сказать то, что хочется сказать. Еще остается вера в то, что иногда у нас сами собой получаются фразы, которые невозможно не произнести. Они

могут в каких-то обстоятельствах стать и пророческими. Эти слова не больше принадлежат поэту, чем тому человеку, который поэта слушает. Орфей — это тот человек, который поэта слушает".

Театр Оливье Пи не боится быть графоманским. Иногда нужно много слов, чтобы научить слушать. Бесконечному театру Клима тоже требовались огромные словесные массивы, чтобы позволить себе несколько пророчеств. Оливье Пи пророчествует легко, как дышит. Необязательно слушать все — достаточно услышать хоть что-нибудь.

Они начинают совсем тихо и просто. Предтеча (Реджеп Митровица) стоит перед дверью, за которой — огромное темное пространство. В Авиньоне это были небо и стены Папского дворца, в Москве — раскрасившая все пределы гигантская сцена Театра Армии. Дверь и маленькая стена за нею, плавающие в пустоте. Что нужно еще, чтобы открыть путь инициации. Под бодрый марш маленького оркестрика в полувоенных френчах Орфей и его апостолы начинают свой путь. Бедный, но праздничный театр снова возможен. Шекспир с его "Глобусом" оживает на наших глазах, и один круг марша по сцене, одна лестница и одна стена на колесиках неузнаваемо преобразуют пространство, в котором больше не царствует режиссер. Между актером и тем, что он произносит, больше нет посредника. Театр обретает старинную целостность, в которой присутствие человека на сцене тотально. Актерам "Орфея" нечего прятать за своей источенной плотью.

Реджеп Митровица один на пустой сцене рассказывает историю своего героя, которому сказали, что он облечен, и он живет, даже не зная, правда это или нет. Этому мученику даны слова, которые благословляют все наши мучения, — принадлежим мы Франции или России: "Франции больше не во Франции, но Франция всегда — земля надежды, утопия лунатика, которая все еще пленяет праведных". Его пылающие глаза на аскетическом лице, его боль, сочащаяся словами, — вот и вся роль. И еще видение танца, которое остается после его речи.

В театре Оливье прежде губ рождает шепот, прежде слов — танец. В танце мы такие, какими видит нас Господь. Не успевает радостный Орфей закончить свою призывную речь ("О, радость, опьяляющая жизнь! Бог есть не что иное, как приятие Бога"), как на сцену выбегает танцующий Пан-Оливье Пи, прямо в чем мать родила, и танцует в свете веселых фонариков под звуки аккордеона. Этот радостный танец обнаженной плоти и есть свобода поколения, которое осмеливается любить прошлое, надеяться на будущее, смеяться над всем святым, веря в святость всего живого. "И эта правда — ладан поколений нашему, освобожденной голове".

Средиземноморские сны — запахи благоуханий, которые воскуривали, чтобы отправлять культ Диониса, Персефоны — запахи, которые он слышал в садах Прованса своего детства, — их вдыхал и другой поэт, чей веселой науке тайно внимал Оливье Пи. Нищие были первым в новой Европе, кто с такой страстью присвоил себе Грецию наших снов. Молодой француз проделывает тот же кульбит — вместе с Грецией он возвращает нам Средиземное море, Францию, весь утраченный утопленной цивилизацией мир: "Бог не будет продан. Он не будет продан даже самому Богу. Орфей тому свидетель: он поет присутствие его отсутствия и приглашает за собою следовать. А мы поборемся за то, чтобы на мгновение мир был нам возвращен!"

Как в омут с головой бросаются эти актеры из окаянности в святость. Вызывающе развязная Лавиния (Элизабет Мазев) танцует на университетских святынях, отрезая между делом части тела бездарного юнца. Дионистийство, которое как старательный профессор пытался исследовать на этой сцене Петер Штайн ("Орестея"), достигается Оливье Пи с мальчишеской легкостью.

Виктория, умирая, проходит сквозь галерею бумажных, крашенных золотом, дверей. Ее трагический голос уносит под черные колосники сцены слова нового пророчества: "Вы можете забраться дальше, выше и невероятнее, чтобы в один прекрасный миг прорвался занавес, и сердце ваше вздрогнет от восторга, жизнь, жизнь — вот что наступит!"

Жизнь начинается, ура!"

Спектакли Оливье Пи, сыгранные на Чеховском фестивале, были встречены критикой холодно, в том числе и на страницах "ЭС". Существует, однако, и иная точка зрения на сей предмет — мы хотим познакомить с ней наших читателей.

Алена КАРАСЬ